

Джейн Эйр

*У. Теккерю, эсвайру,
с глубочайшим уважением
посвящает автор эту книгу*

Предисловие автора

В предисловии к первому изданию «Джейн Эйр» нужды не было, и мне не пришлось его писать. Но это, второе, издание требует нескольких вступительных слов благодарности и кое-каких пояснений.

Благодарность мне должно принести:

во-первых, Публике — за снисходительность, с какой она склонила слух к незатейливой повести, ничем особо не блистающей;

во-вторых, Печати — за благожелательную и беспристрастную поддержку, дарованную безвестному неопиту;

в-третьих, моим Издателям — за помощь, какую их тактичность, их энергия, их практический опыт и доброжелательность оказали неведомому и никем не рекомендованному Автору.

Печать и Публика для меня лишь неопределенные обобщения, и поблагодарить их я могу только в общих словах, однако моих Издателей я знаю и знаю тех благожелательных Критиков, которые ободрили меня, как способны благородные и великодушные люди ободрить робкого новичка. И вот им — то есть моим Издателям и этим Критикам — я говорю от всей души: «Господа, сердечно вас благодарю!»

Признав таким образом свой долг тем, кто способствовал выходу моей книги в свет и одобрил ее, я обращусь к другим, чье число, насколько мне известно, невелико, но тем не менее не может быть оставлено без внимания, — к немногим боязливым или сварливо-придирчивым хулителям, кому направление таких книг, как «Джейн Эйр», представляется сомнительным, в чьих глазах все необычное уже дурно, чей слух в любом обличии лицемерия — этого отца преступлений — различает оскорбление благочестию, сему наместнику Бога в земной юдоли. Таким

недоверчивым судьям я хочу указать на некоторые неопровержимые различия, хочу напомнить им несколько простых истин.

Светские условности еще не нравственность. Ханжество еще не религия. Обличать ханжество еще не значит нападать на религию. Сорвать маску с лица Фарисея еще не значит поднять руку на Терновый Венец.

Все эти вещи и дела диаметрально противоположны, они столь же различны, как порок и добродетель. Люди слишком уж часто путают их, а путать их нельзя. Нельзя принимать внешность за суть. Нельзя допускать, чтобы узкие человеческие доктрины, служащие вознесению и восхвалению немногих, подменяли учение Христа, искупившее весь мир. Между ними, повторяю, есть различие, и четко обозначить широкую границу, их разделяющую, — поступок благой, а не дурной.

Свету может не нравиться разделение этих идей, поскольку он привык сливать их воедино и находит удобным выдавать внешнюю благопристойность за истинную добродетель — принимать побелку стен за чистоту святилища. Он может ненавидеть того, кто дерзает проверять и обличать, соскабливать позолоту и обнажать низкий металл под ней, вскрывать гроб повапленный и обнажать всем взорам прах внутри, — но и ненавидя, он в долгу у такого смельчака.

Ахав не любил Михея, ибо тот не пророчествовал о нем доброго, а только худое. Возможно, угодливый сын Хенааны был ему много приятнее, однако Ахав мог бы избежать кровавой гибели, если бы отвратил слух свой от лести и открыл бы его правдивому совету.

Среди нас живет человек, чьи слова не предназначены для того, чтобы приятно щекотать нежные уши. Он, мне кажется, предстает перед великими мира сего, как некогда сын Иемлая предстал перед царем Израильским и царем Иудейским, сидевшими каждый на седалище своем, и провозглашает истину, столь же глубокую, с силой столь же пророческой и победной, с тем же бесстрашием и дерзновением. Вызывает ли сатирик «Ярмарки тщеславия» восхищение в высших сферах? Не знаю. Но полагаю, если бы некоторые из тех, на кого он обрушивает греческий огонь своих сарказмов, над чьими

головами мечет свои перуны, вняли, пока не поздно, его предостережениям, то сами они или семя их могли бы еще избежать Рамофа Галаадского, этой роковой битвы.

Почему я называю этого человека? Я называю его, ибо вижу, что ум его гораздо более глубок и уникален, чем сознают современники; ибо почитаю в нем первого борца за очищение общества наших дней, главного мастера среди тех тружеников, кто стремится восстановить во всей чистоте извращенный порядок вещей; ибо считаю, что ни один критик его творений еще не нашел подобающего ему сравнения или слов, верно определяющих его талант. Говорят, что он подобен Филдингу, указывают на его остроумие, юмор, умение рассмешить. На Филдинга он похож, как орел — на стервятника: Филдинг снисходит до падали, но Теккерей — никогда. Остроумие его блистательно, юмор обаятелен, однако к серьезному его гению они имеют то же отношение, что летние зарницы — к смертоносной электрической вспышке, укрытой в глубинах грозовой тучи. И наконец, я называю мистера Теккерейя потому, что ему — если он примет такую дань уважения от неизвестного лица — я посвящаю это второе издание «Джейн Эйр».

*21 декабря 1847 года.
Каррер-Белл*

ГЛАВА 1

Пойти гулять после обеда в тот день было никак нельзя. Утром мы около часа бродили по садовым дорожкам среди оголившихся кустов, но к обеду (миссис Рид, если не было гостей, обедала рано) ледяной зимний ветер нагнал такие хмурые тучи и захлестал таким дождем, что ни о каких прогулках и речи быть не могло.

А я обрадовалась. Долгие прогулки, особенно в сырые знобкие дни, мне никогда не нравились. И каким мучительным было возвращение домой в промозглых сумерках, когда пальцы на руках и ногах совсем немели, а сердце сжимала тоска из-за сердитого ворчания Бесси, няньки, и еще от сознания, насколько я физически слабее, чем Элиза, Джон и Джорджиана Риды.

Теперь указанные Элиза, Джон и Джорджиана ласкались в гостиной к маменьке: она полулежала на кушетке у камина и, окруженная своими ангельчиками (в эту минуту они не ссорились и не плакали), выглядела безоблачно счастливой. Меня к их кружку она не подозвала, сказав, что сожалеет о необходимости держать меня поодаль, но, пока не услышит от Бесси и собственными глазами не убедится, насколько искренне и усердно я стараюсь обрести детскую общительность и приветливость, сделаться более милой и резвой, стать веселой, непосредственной — ну, словом, более естественной, — она вынуждена отказывать мне в тех удовольствиях, какие предназначены только для детей, всем довольных и счастливых.

— А что Бесси наговорила, будто я сделала?

— Джейн, я не терплю хныканья и дерзких вопросов, к тому же ребенок, столь грубо говорящий о старших, поистине невыносим. Поди отсюда, посиди где-нибудь и помолчи, пока не научишься быть вежливой.

К гостиной примыкала малая столовая для завтраков, и я ускользнула туда. Там стоял книжный шкаф, и минуту спустя я уже держала в руке толстый том, в котором, как я предусмотрительно убедилась, было много картинок. Забравшись на диванчик в оконной нише, я поджала ноги по-турецки, почти совсем задернула гардину из красного штофа и оказалась в убежище, укрытом почти со всех сторон.

Справа меня прятали алые складки гардины, слева прозрачные стекла служили мне защитой от унылого ноябрьского дня, не загораживая его. Время от времени, переворачивая страницу книги, я поглядывала в окно на открывавшийся за ним вид — вдали белесой пеленой висел туман, смыкаясь с тучами, вблизи долгие порывы стоющего ветра гнали нескончаемые дождевые струи над мокрой лужайкой и гнущимися ветками деревьев и кустов.

Я вернулась к моей книге — «Истории британских птиц» Бьюика. Печатный текст меня, вообще говоря, интересовал мало, однако некоторые страницы введения я, хотя и была еще совсем маленькой, не могла просто перелистнуть, не прочитав. Те, что посвящены местам обитания морских птиц, «пустынным скалистым островкам и обрывистым мысам», приюту лишь их одних, — побережью Норвегии, где таких островков и обрывов множество, от мыса Линнеснеса на юге и до Нордкапа на самом севере,

Где Северный вскипает Океан
Вокруг нагих унылых островов
Далекой Туле; где на грозные Гебриды
Гнев рушат атлантические волны.

Не могли не привлечь моего внимания и описания суровых, мрачных берегов Лапландии, Сибири, Шпицбергена, Новой Земли, Исландии, Гренландии — все эти «необъятные протяжения Арктической зоны, эти неисследованные области, гнетуще безлюдные, это вечное царство морозов и снегов, где крепкие ледяные поля, творение неисчислимых столетий зимы, окружают полюс, громоздя ледяные горы одну выше другой, и сосредоточивают в себе все угрозы лютых холодов». У меня

сложился собственный образ этих мертвенно-белых царств: смутный, как все лишь полупонятные представления, что неясными тенями скользят в детском мозгу, но странно убедительный. Слова на страницах введения связывались с иллюстрациями книги и придавали особое значение одинокой скале среди валов, взметающих фонтаны брызг, разбитой лодке на пустынном берегу, холодной жуткой луне, поглядывающей сквозь разрывы туч на тонущий корабль.

Не могу выразить, какую меланхолию будило изображение заброшенного кладбища, надгробной плиты с чьим-то именем, калитки, двух деревьев, заслоняющей даль полуразрушенной ограды, узкого серпа восходящего месяца — указания на наступление ночи.

Два судна, скованные штилем на зеркальной глади дремлющего океана, я сочла морскими призраками.

Страницу, на которой дьявол крепко держал вора за его суму, я тут же перевернула, холодея от ужаса.

Как и другую, где на вершине скалы сидел кто-то черный и рогатый, глядя на толпу вдалеке, окружающую виселицу.

Каждая картинка содержала какую-то историю, часто загадочную для моего неразвитого ума и детских чувств и все же необычайно интересную — не меньше рассказов Бесси в зимние вечера, когда она бывала в добром расположении духа и ставила свой столик для утюжки у камелька в детской. Разрешив нам усесться вокруг, она разглаживала кружевные рюши на платьях миссис Рид, плоила ее ночные чепцы и потчевала нас перипетиями любви и приключений, заимствованными из старинных сказок и еще более старинных баллад, а то и (как я поняла позднее) из «Памелы» или «Повести о Генри, графе Морленде».

С Бьюиком на коленях я была счастлива, то есть счастлива на свой лад. И боялась только одного: что мне помешают, как и произошло слишком скоро. Дверь открылась.

— Ба! Госпожа Нюня! — раздался голос Джона Рида и тотчас умолк, так как комната оказалась пустой. — Куда, прах ее побери, она подевалась? — продолжал он. — Лиззи! Джорджи! — позвал он сестер. — Джоан тут нет!

Скажите маменьке, что она убежала под дождь, дрянная такая!

«Хорошо, что я задернула гардину», — подумала я, лихорадочно надеясь, что он не обнаружит мой тайник. И Джон Рид меня не нашел бы — он был туп и ненаблюдателен, но Элиза только заглянула в дверь и сразу сказала:

— Она за гардиной, Джек, где ей еще быть?

И я сразу вышла в комнату, дрожа при одной мысли, что упомянутый Джек вытащит меня оттуда насильно.

— Чего вам? — спросила я с неловкой робостью.

— Ну-ка скажи: «Что вам угодно, мастер Рид?» — последовал ответ. — А угодно мне, чтобы ты подошла сюда!

Он плюхнулся в кресло и жестом приказал, чтобы я встала перед ним. Джон Рид был четырнадцатилетним школьником (на четыре года старше меня, так как мне было тогда всего десять), крупным и плотным для своего возраста, с землистой нездоровой кожей, грубыми чертами широкого лица, толстыми руками и большими ступнями. За столом он обжирался, и из-за постоянного несварения желудка глаза у него были мутными и тусклыми, а щеки дряблыми. Собственно, ему полагалось бы сейчас быть в школе, но его маменька забрала его домой на месяц-два «по причине деликатного здоровья». Мистер Майлс, директор школы, объяснил, что Джон был бы совсем здоров, если бы ему из дома присылали поменьше бисквитов и сладостей, однако материнское сердце не приняло столь сурового суждения, склоняясь к более возвышенному убеждению, что дурной цвет лица Джона свидетельствует о чрезмерном прилежании, а возможно, и о том, что мальчик тоскует по дому.

Джон питал очень мало любви к матери и сестрам, а ко мне — живейшую антипатию. Он издевался надо мной и бил меня — и не два-три раза в неделю, не раз-другой на дню, но непрерывно: каждый мой нерв изнывал от страха перед ним, и все мое существо сжималось при его приближении. Бывали минуты, когда я совсем терялась от ужаса, который он мне внушал. Ведь у меня не было никакой защиты ни от его угроз, ни от перехода от слов к делу. Слуги не хотели идти наперекор молодому хозяину, вступившись за меня, а миссис Рид оставалась слепа

и глуха: она не видела, как он меня бьет, не слышала, как он осыпает меня бранью, даже если он расправлялся со мной, не стесняясь ее присутствия. Правда, чаще это происходило у нее за спиной.

Привычно подчиняясь Джону, я подошла к его креслу. Примерно три минуты он потратил на то, что показывал мне язык, высовывая его настолько, насколько было возможно, не повредив корня. Я знала, что потом он меня ударит, и хотя очень боялась удара, думала о том, как отвратителен и уродлив тот, кто сейчас его нанесет. Возможно, он прочитал эти мысли по моему лицу, потому что внезапно без единого слова ударил меня так сильно, что я зашаталась, однако удержалась на ногах и попятилась.

— Это тебе за то, что ты дерзко отвечала маменьке в гостиной, — сказал он, — и за то, что ты подло пряталась за занавеской, и за то, как ты на меня смотрела две минуты назад, слышишь, крыса!

Я давно привыкла к грубостям Джона Рида, и мне в голову не приходило возражать ему. Меня заботило лишь то, как перенести удар, который неизбежно должен был последовать за бранью.

— Что ты делала за занавеской? — спросил он.

— Читала.

— Покажи книгу.

Я вернулась к окну и принесла ее.

— Ты не смеешь брать наши книги; мама говорит, что ты приживалка; у тебя нет денег, твой отец тебе ничего не оставил; тебе бы надо милостыню кланчить, а не жить здесь с детьми джентльмена, есть то же, что едим мы, и носить одежду, за которую платит маменька. Ну, я проучу тебя, как рыться на моих книжных полках! Они ведь мои, весь дом мой — или станет моим через несколько лет. Иди встань у двери, подальше от зеркала и окон.

Я послушалась, не сообразив сначала, что он задумал. Но когда увидела, как он поднял книгу, прицелился и вскочил, чтобы швырнуть ее, я инстинктивно с испуганным криком кинулась в сторону. Но опоздала. Том уже был брошен, обрушился на меня, сбил с ног, и я стукнулась головой о косяк. Из ссадины потекла кровь. Боль была настолько сильной, что мой ужас внезапно прошел, сменившись другими чувствами.

— Гадкий, злой мальчишка! — крикнула я. — Ты как убийца, ты как надсмотрщик над рабами, ты как римские императоры!

Я читала «Историю Рима» Голдсмита и имела свое суждение о Нероне, Калигуле и прочих. И про себя проводила параллели, хотя вовсе не собиралась вот так выложить их вслух.

— Как! Как! — завопил он. — Она сказала мне такое? Вы ее слышали, Элиза и Джорджиана? Ну, я скажу маменьке, но сперва...

Он ринулся на меня. Я почувствовала, как он ухватил меня за волосы и за плечо... но он напал на существо, доведенное до отчаяния. Я правда видела в нем тирана, убийцу. Я чувствовала, как у меня по шее сползают капли крови, испытывала острую боль, и все это на время возобладало над страхом. Я сопротивлялась как безумная. Не знаю, что делали мои руки, только он охнул: «Крыса! Крыса!» — и завопил во всю мочь. Но ему недолго пришлось ждать спасения. Элиза с Джорджианой уже сбежали за миссис Рид, которая поднялась в свой будуар, и теперь она явилась на поле боя в сопровождении Бесси и Эббот, своей камеристки. Нас растащили. Я услышала слова:

— Подумать только! Набросилась на мастера Джона, как помешанная!

— Просто невообразимо, до чего она разъярилась!

А затем миссис Рид приказала:

— Уведите ее в Красную комнату и запирайте там!

В меня тотчас вцепились две пары рук и понесли наверх.

ГЛАВА 2

Я сопротивлялась до самого конца. Нечто новое для меня и заметно укрепившее дурное мнение обо мне и Бесси, и мисс Эббот. Я и правда была не в себе или, вернее, вне себя, как говорят французы. Понимая, что секундный бунт уже обрек меня на неведомые кары, я, подобно всем восставшим рабам, в порыве отчаяния была исполнена решимости идти до конца.

— Держите ее руки, мисс Эббот, она хуже бешеной кошки!

— Стыдно! Стыдно! — вскричала камеристка. — Какое мерзкое поведение, мисс Эйр, — ударить молодого джентльмена, сына вашей благотельницы! Вашего молодого хозяина!

— Хозяина? Как так — хозяина? Разве я служанка?

— Нет, вы ниже, чем последняя судомойка, ведь вы едите свой хлеб даром. Ну-ка сядьте и хорошенько подумайте о своем дурном сердце.

К этому времени они уже водворили меня в комнату, указанную миссис Рид, и насильно усадили на что-то мягкое. Я было вскочила как ужаленная, но они вновь схватили меня и удержали на месте.

— Раз не хотите сидеть смиренно, придется вас связать. Мисс Эббот, одолжите мне ваши подвязки, мои она сразу разорвет.

Мисс Эббот отвернулась, чтобы снять с пухлой ноги требуемые узы. Эти приготовления и новое унижение, каким они завершились бы, немного меня усмирили.

— Не снимайте их! — вырвался у меня крик. — Я не встану.

И в подтверждение я обеими руками вцепилась в мягкое сиденье.

— Ну, смотри! — сказала Бесси, а когда убедилась, что я и правда присмирела, то отпустила меня, и они с мисс Эббот стояли надо мной, скрестив руки на груди, подозрительно и хмуро вглядываясь в мое лицо, словно сомневаясь, в здравом ли я уме.

— Прежде она такого не вытворяла, — наконец сказала Бесси, повернувшись к камеристке.

— Только оно всегда в ней сидело, — ответила та. — Я хозяйке часто говаривала, какова, по-моему, эта девочка, и хозяйка, она со мной соглашалась. В тихом омуте черти водятся. В жизни не видела, чтоб маленькая девочка была такой скрытной.

Бесси ничего не ответила, но затем сказала мне:

— Вам бы след помнить, мисс, что вы миссис Рид всем обязаны — она вас содержит. А если прогонит вас, так вам одна дорога — в работный дом.

Мне нечего было ответить на эти слова. Слышала я их не в первый раз. Самые первые мои воспоминания включали вот такие намеки. Попреки в моей обездоленности превратились в моих ушах в какой-то неясный напев — очень мучительный и унижительный, но понятный лишь наполовину. Мисс Эббот не замедлила подхватить:

— И вам не след считать себя ровней молодым барышням и мастеру Риду потому только, что хозяйка по доброте своей позволила, чтоб вы воспитывались вместе с ними. Они-то получают большие деньги, а вы — ничего, так вам надо набраться смирения, стараться угождать им.

— Мы ж вам это все говорим для вашей же пользы, — добавила Бесси совсем не злым голосом. — Уж постарайтесь быть полезной, приветливой, так, может, и останетесь жить тут. А если начнете злиться и грубить, хозяйка вас отошлет, это уж как пить дать.

— А кроме того, — подхватила мисс Эббот, — ее Боженька покарает: поразит смертью, когда она будет беситься, и куда ей тогда прямая дорога? Пойдем, Бесси, оставим ее. Вот уж не хотела бы, чтоб мое сердце было бы таким черным, как у нее. А вы, мисс Эйр, когда останетесь одни, помолитесь хорошенько. Не то, если не покаетесь, как бы нечистая сила не забралась бы в трубу да и не утащила бы вас.

Они ушли, закрыв за собой дверь и заперев ее.

Красная комната была запасной спальней, которой пользовались очень редко, вернее сказать — никогда, кроме тех случаев, когда в Гейтсхед-Холл съезжалось столько гостей, что ни единой другой свободной комнаты не оставалось. И это притом что Красная комната была одной из самых больших и роскошных в доме. В центре, точно алтарь, возвышалась кровать красного дерева с массивными столбиками, поддерживавшими полог из багряного дамаска. Два больших окна с никогда не открывавшимися ставнями были наполовину занавешены гардинами из той же ткани, ниспадавшими фестонами и волнистыми складками. Ковер был красным. Стол в ногах кровати был накрыт малиновой скатертью. Цвет стен был золотисто-коричневатым с розовым оттенком; комод, туалетный столик, стулья — все были старинного темно-красного дерева,

тщательно отполированного. Среди общей этой темно-красности резала взгляд снежная белизна пикейного покрывала, прятавшего взбитые пуховики и подушки. Почти столь же слепяще-белым выглядело глубокое покойное кресло у изголовья со скамеечкой для ног. Мне оно показалось мертвенно-белесым тронном.

В комнате царил холод, так как в ней редко топили камин; там стояла мертвая тишина, так как она находилась далеко от кухни и детской, и она казалась мрачной, так как туда редко кто-нибудь входил. Только горничные по субботам стирали с зеркал и мебели пыль, тихо осевшую на них за неделю, да изредка ее посещала сама миссис Рид, чтобы проверить содержимое потайного ящика комода, где хранились разные документы, шкатулка с ее драгоценностями и миниатюра ее покойного мужа. Эти последние слова заключают в себе тайну Красной комнаты, то заклятие, из-за которого она пустовала, несмотря на все свое великолепие.

Мистер Рид девять лет покоился в могиле, и свой последний вздох он испустил на этой кровати. Здесь он лежал в гробу, отсюда подручные гробовщика отнесли его на кладбище, и с того дня что-то вроде священного страха оберегало Красную комнату от частых вторжений.

Сиденье, к которому Бесси и злобная мисс Эббот пригвоздили меня, оказалось низенькой оттоманкой возле мраморного камина. Прямо передо мной вздымалась кровать, справа высился темный комод — отражения в его полированной стенке казались неясным узором, слева находились занавешенные окна, и высокое зеркало между ними повторяло тоскливое величие кровати и комнаты. Я не знала точно, заперли ли они дверь, и, когда набралась смелости встать, пошла проверить, так ли это. Но увы! Никакая темница не запиралась столь надежно. Возвращаясь к оттоманке, я должна была пройти мимо зеркала, и мой завороченный взгляд невольно измерил его глубины. Все в этой воображаемой нише выглядело более холодным, более темным, чем в натуре. И смотревшая на меня оттуда одинокая фигурка, чьи побелевшие лицо и руки выделялись в сумраке, а блестящие от страха глаза были единственным, что двигалось среди общей неподвижности, более всего походила на привидение. Мне

она напомнила тех маленьких духов, наполовину фей, наполовину бесенят, которые в рассказах Бесси населяли заросшие папоротником болотца среди вересковых пустошей и внезапно появлялись перед запоздалыми путниками. Я вернулась на оттоманку.

За эти минуты во мне пробудилось суеверие, но час его полной победы еще не настал: моя кровь еще оставалась теплой, во мне еще не угасло горькое воодушевление взбунтовавшегося раба. И прежде чем темное настоящее удручило меня, я надолго оказалась во власти быстрого потока воспоминаний и мыслей.

Все тиранические издевательства Джона Рида, спесивое безразличие его сестер, отвращение их матери, угодливое презрение прислуги — все это всколыхнулось в моем возмущенном сознании, точно ил, взбаламученный в воде колодца. Почему я все время обречена страданиям, всегда подвергаюсь унижениям, всегда оказываюсь виноватой, всегда бываю наказана? Почему мной всегда недовольны? Почему бесполезны любые попытки кому-то понравиться? Элизу, упрямую и себялюбивую, уважают. Джорджиану, капризную, очень злопамятную, мелочно придирчивую, дерзкую, все балуют, во всем ей потакают. Ее красота, ее розовые щечки и золотые локончики словно бы чаруют всех, кто ни посмотрит на нее, заранее искупая любые провинности. Джону ни в чем не препятствуют, и уж тем более его ни за что не наказывают, хотя он сворачивает шею голубям, убивает цыплят цесарки, натравливает собак на овец, обрывает все плоды в оранжерее, обламывает все бутоны на редких растениях. Он называет мать старушенцией, иногда ругает за смуглую кожу, такую же, как у него, грубо перечит ей, не так уж редко рвет и портит ее шелковые платья, и все равно он — ее «милый сыночек». Я боюсь хоть в чем-нибудь провиниться, я стараюсь добросовестно исполнять все свои обязанности, а меня называют непослушной и дерзкой, злокой и хитрой тихоней с утра до полудня и от полудня до ночи.

Голова у меня все болела от полученного удара, от ушиба о дверной косяк, а из ссадины все еще сочилась кровь, но никто не побранил Джона за то, что он без всякой причины набросился на меня, а я, потому лишь,

что воспротивилась ему, пытаясь избежать новых беспричинных побоев, стала предметом всеобщего осуждения.

«Несправедливо! Несправедливо!» — твердил мой рассудок, обретший взрослую, хотя и временную остроту от боли и обиды. И они же породили решимость прибегнуть к любому средству, только бы спастись от невыносимой тирании, — например, убежать, а если не удастся, больше не есть и не пить, пока не умру.

Какие душевные муки терзали меня в эти последние часы унылого дня! В каком смятении пребывал мой мозг, как бунтовало мое сердце! Но в каком мраке необъяснимости велся этот мысленный бой! Я не находила ответа на неумолчный внутренний вопрос — почему, за что я так страдаю? Теперь с расстояния... не скажу скольких лет, я нахожу его без всякого труда.

Я вносила дисгармонию в Гейтсхед-Холл. Я же была иной, чем все остальные там: у меня не было ничего общего ни с миссис Рид, ни с ее детьми, ни с ее приближенными вассалами. Они меня не любили, так ведь и я их не любила. С какой стати должно было внушать им добрые чувства существо, взаимно не симпатичное каждому из них, существо, совершенно им чужое, полная их противоположность по характеру, по способностям, по склонностям; никчемное существо, которое не могло стать ни полезным им, ни еще одним источником радостей; ядовитое существо, возвращающее семена возмущения их обхождением, презрения к их мнениям. Я знаю, что, будь я задорной, веселой, беззаботной, требовательной и красивой резвущкой, пусть и столь же обездоленной и зависимой от нее, миссис Рид терпела бы мое присутствие более спокойно, ее дети скорее были бы склонны видеть во мне подружку, а слуги не старались бы сваливать на меня вину за все, что могло приключиться в детской.

Дневной свет мало-помалу прощался с Красной комнатой; время шло к половине пятого, и пасмурный день переходил в гнетущие сумерки. Я слышала, как дождь все еще неумолчно стучит в окно лестницы, как воет ветер в рощице позади дома. Мне становилось все холоднее и холоднее, и тут смелость покинула меня. Привычное состояние униженности, сомнения в себе, тоскливой подавленности подернуло сыростью угли моего утасяющего

гнева. Все называли меня скверной девочкой, так, может быть, я и вправду такая? Разве я минуту назад не думала о том, как уморить себя голодом? Это, бесспорно, грешная мысль, а достойна ли я смерти? И такой ли желанный приют склеп под приделом гейтсхедской церкви? В этом склепе, как мне говорили, погребен мистер Рид. И тут мои мысли обратились к нему, наводя на меня все больший страх. Я его не помнила, но знала, что он был моим родным дядей — братом моей матери, что он взял меня, осиротевшую на первом году жизни, в свой дом и что на смертном одре он потребовал от миссис Рид обещания, что она будет содержать и воспитывать меня, как собственную дочь. Вероятно, миссис Рид считала, что ни в чем не отступила от своего обещания, да так, полагаю, оно и было в той мере, в какой ей позволяла ее натура. Но как могла она питать добрые чувства к завещанной ей воспитаннице, не связанной с ней кровными узами, а после смерти ее мужа так вообще никакими? Несомненно, ее крайне тяготила необходимость из-за вырванного у нее слова заменять мать чужому ребенку, которого она не могла любить, и терпеть постоянное присутствие неприятной чужачки в своем семейном кружке.

Меня осенила странная мысль. Я не сомневалась — никогда не сомневалась, — что мистер Рид, будь он жив, обходился бы со мной заботливо и ласково. И вот теперь, глядя на белую кровать и тонущие в сумраке стены, а порой и обращая замороженный взгляд на смутно поблескивающее зеркало, я начала припоминать все истории, какие слышала о мертвецах, которые не находят покоя в могилах потому, что их последняя воля не была исполнена, и возвращаются в мир живых, дабы покарать нарушивших клятву и отомстить за обиженных. И мне пришло в голову, что дух мистера Рида, разгневанный несправедливостями, которые терпит дочь его сестры, может покинуть то ли церковный склеп, то ли неведомый мир, где пребывают усопшие, и явиться мне в этой комнате. Я утерла слезы и подавила рыдания, боясь, как бы на свидетельства бурного горя не отозвался потусторонний голос, дабы утешить меня, или из темноты не возникло бы лицо, окруженное ореолом, и не склонилось бы надо мной с неземной жалостью. Хотя в теории эта мысль казалась утешительной,

я почувствовала, что осуществление ее на деле было бы ужасным, и изо всех сил постаралась прогнать ее, постаралась быть твердой. Стряхнув волосы с глаз, я откинула голову и попыталась обвести темную комнату смелым взглядом — и в этот миг на стену лег светлый блик. Может быть, спросила я себя, лунный луч проник в щелку между ставнями? Нет, лунный свет неподвижен, а этот двигался: на моих глазах он скользнул к потолку и затрепетал у меня над головой. Теперь я не сомневаюсь, что, вероятнее всего, кто-то шел через лужайку с фонарем, луч которого скользил по ставням, но тогда я с трепетом ожидала неведомых ужасов, мои нервы были возбуждены до крайности, и быстро скользящий блик представился мне предвестником потустороннего видения. Сердце у меня заколотилось, мои уши заполнил звук, показавшийся мне шелестом крыльев, я ощутила чье-то присутствие... Меня что-то давило, душило, и, утратив всякую власть над собой, я бросилась к двери и стала отчаянно дергать ручку. В коридоре послышались бегущие шаги, ключ повернулся в замке, и вошли Бесси с Эббот.

— Мисс Эйр, вам нехорошо? — спросила Бесси.

— Какой жуткий шум! Меня всю будто жаром обдало! — воскликнула Эббот.

— Выпустите меня! Можно, я вернусь в детскую? — кричала я.

— Зачем? Вы поранились? Вам что-нибудь привиделось? — расспрашивала меня Бесси.

— Ой! Я видела свет и подумала, что увижу привидение! — Я уцепилась за руку Бесси, и она ее не отняла.

— Она нарочно завопила, — заявила Эббот со злостью. — Оглохнуть можно было. Ну, заболи у нее что-то, так еще понятно было бы, но она же только одного хотела: чтобы мы все сюда прибежали. Знаю я подлые ее хитрости!

— В чем дело? — властно спросил еще один голос: по коридору шла миссис Рид. Ленты ее чепца развевались, платье воинственно шуршало. — Эббот и Бесси! Мне кажется, я распорядилась, чтобы Джейн Эйр оставили в Красной комнате, пока я сама за ней не приду.

— Мисс Джейн так громко кричала, сударыня, — сказала Бесси умоляюще.

— Не поддерживайте ее! — был единственный ответ. — Отпусти руку Бесси, девочка! Не сомневайся, таким способом ты ничего не добьешься. Я не терплю притворства, особенно в детях. Мой долг — показать тебе, что от лживых уловок пользы не бывает. Теперь ты пробудешь тут на час дольше, но и тогда я тебя выпущу, только если ты смиришься и будешь вести себя очень тихо.

— Тетя, сжальтесь! Простите меня! Я не вынесу... покажите меня как-нибудь по-другому! Я умру, если...

— Молчать! Эта буйная выходка отвратительна!

Без сомнения, она не кривила душой. В ее глазах я была не по летам умелой притворщицей. Она искренне видела во мне сочетание взбалмошности, скверного нрава и опасной двуличности.

Бесси и Эббот вышли в коридор, и миссис Рид, еще более раздраженная моим теперь иступленным отчаянием и судорожными рыданиями, втолкнула меня внутрь и заперла дверь. Я услышала, как она удаляется, гневно шурша юбками, и тут, видимо, я потеряла сознание, и все подернулось темнотой.

ГЛАВА 3

Следующее мое воспоминание: я просыпаюсь будто от страшного кошмара и вижу жуткое багровое сияние, пересеченное черными полосками. И я слышу голоса, странно глухие, будто доносящиеся сквозь шум ветра или воды. Волнение, растерянность и властвующий надо всем ужас мутили мое сознание. Вскоре я почувствовала чьи-то руки: кто-то приподнял меня и усадил, поддерживая за плечи, причем никогда еще меня не приподнимали и не поддерживали с такой ласковой бережностью. Я прислонилась головой не то к подушке, не то к чьей-то руке, и мне стало легче.

Через пять минут туман, окутывавший мой мозг, рассеялся. И я поняла, что нахожусь в собственной кровати, а багровое сияние исходит от огня в камельке детской. Была ночь. На столе горела свеча. В ногах кровати стояла Бесси с тазиком в руке, а в кресле возле моего изголовья сидел незнакомый джентльмен и низко наклонялся надо мной.

Я испытала неизъяснимое облегчение: близость постороннего человека, не обитателя Гейтсхеда, не родственника миссис Рид, успокаивала, обещала защиту. Отвернувшись от Бесси (хотя ее присутствие было для меня куда менее тягостным, чем, например, Эббот), я взглядела в его лицо и узнала мистера Ллойда, аптекаря, которого миссис Рид иногда звала к заболевшим слугам. Себя и своих детей она поручала заботам врача.

— Ну-с, кто я? — спросил он.

Я назвала его фамилию и протянула ему руку. Он взял ее с улыбкой, говоря:

— Скоро мы будем чувствовать себя совсем хорошо!

Затем мистер Ллойд осторожно положил меня и, обратившись к Бесси, велел ей последить, чтобы ночью меня не тревожили. Он отдал еще несколько распоряжений, упомянул, что заглянет на следующий день, и удалился — к большому моему огорчению. Мне было так уютно, так спокойно, пока он сидел у моего изголовья. И когда он притворил за собой дверь, в комнате словно стало темнее, и сердце у меня вновь упало, удрученное невыразимой тоской.

— Мисс, а вы уснете, как вам кажется? — спросила Бесси мягко.

Я ответила ей лишь с большим трудом, ожидая услышать злой упрек:

— Постараюсь.

— Дать вам попить? А может, скушаете чего-нибудь?

— Нет, спасибо, Бесси.

— Так я, пожалуй, лягу. Ведь время уже за полночь. Но если вам что понадобится ночью, так вы меня позовите.

Какая удивительная заботливость! Осмелев, я спросила:

— Бесси, а что со мной такое? Я заболела?

— Думается, в Красной комнате вам стало нехорошо, так вы сильно плакали. А теперь вам, надо быть, скоро полегчает.

Бесси пошла в комнату горничной рядом с детской. Я услышала, как она сказала:

— Сара, ляг со мной в детской. Я страх боюсь остаться одна с бедной девочкой. Она ж и умереть может!

И что с ней такое приключилось? Может, ей что привиделось? Хозяйка была слишком уж строга.

Она вернулась с Сарой, и они легли спать. Но перед тем, как заснуть, шептались добрых полчаса. До меня доносились обрывки их разговора, и я более чем ясно понимала, какую тему они обсуждают.

«Что-то прошло совсем рядом с ней, белое такое, и исчезло...» «А следом за ним — большой черный пес...» «Три громких удара по двери...» «Свет на кладбище прямо над его могилой...» И так далее, и так далее.

Наконец обе уснули, свеча и огонь погасли. Для меня часы этой ночи тянулись в жутком бдении. Уши, глаза, ум были равно во власти ужаса — того ужаса, какой способны испытывать только дети.

Случившееся в Красной комнате не завершилось тяжким или длительным телесным недугом: оно всего лишь вызвало у меня такое нервное потрясение, что его отголоски я испытываю по сей день. Да, миссис Рид, вам я обязана тягчайшими душевными страданиями. Но мне следует простить вас, ибо вы не ведали, что творили: надрывая струны моего сердца, вы считали, что искореняете мои скверные наклонности, не более того.

На следующий день к полудню я встала, оделась и, укутанная в шаль, сидела у камелька в детской. Физически я чувствовала себя очень слабой и разбитой, но куда хуже была моя душевная подавленность — подавленность, заставлявшая меня все время тихо плакать. Не успевала я стереть со щеки одну соленую каплю, как тотчас по ней скользила другая. А ведь, думала я, мне следовало бы чувствовать себя счастливой: никого из младших Ридов дома не было — они уехали кататься в карете с маменькой, Эббот шила в соседней комнате, а Бесси, убравшая игрушки на место и приводившая в порядок ящики комода, иногда заговаривала со мной с непривычной ласковостью. Казалось бы, мне, привыкшей к постоянным выговорам, к необходимости прислуживать, не получая ни слова благодарности, должно было бы казаться, будто я оказалась в раю тишины и покоя, однако мои истерзанные нервы достигли того состояния, когда тихая безмятежность уже не могла их успокоить и никакое удовольствие не вызвало бы приятного волнения.

Бесси спустилась в кухню и вернулась с пирожным-корзиночкой на фарфоровой тарелке с ярким красивым узором — райские птицы, обрамленные венком из розовых бутонов в сплетении листьев, давно вызывали у меня восторженное восхищение, и я часто просила позволения взять тарелку в руки, чтобы получше их разглядеть, но до сих пор меня считали недостойной такой чести. И вот теперь бесценная тарелка была водворена на мои колени, и меня ласково уговаривали съесть хоть кусочек изящной коронки из теста, лежащей на ней. Напрасная поблажка! Подобно большинству поблажек, в которых долго отказывают и о которых пылко мечтают, оказанная слишком, слишком поздно! Я даже надкусить корзиночку не могла, а оперение птиц и лепестки цветов выглядели странно поблекшими. Я отставила тарелку вместе с корзиночкой. Бесси спросила, не почитаю ли я книжку. Слово «книжка» временно меня подбодрило, и я попросила Бесси принести мне из библиотеки «Путешествия Гулливера». Эту книгу я перечитывала снова и снова с неубывающим восторгом. Мне она казалась рассказом о том, что произошло на самом деле, и вызывала у меня куда более глубокий интерес, чем сказки: ведь после долгих тщетных поисков эльфов среди листьев наперстянки, в венчиках колокольчиков, под шляпками грибов и под плетями плюща на обомшелой ограде я в конце концов смирилась с печальным выводом, что все они переселились из Англии в какую-то дикую страну, где леса по-прежнему дремучи, а людей совсем мало. Тогда как Лилипутия и Бробдинггег, как я твердо верила, действительно существуют где-то на земле. Я не сомневалась, что могу в один прекрасный день после долгого плавания собственными глазами увидеть маленькие поля, домики и деревья, миниатюрных людей, крохотных коров и птиц первого королевства, а после того — хлебные колосья высотой с корабельные мачты, могучих псов, чудовищных кошек и исполинских жителей второго. Тем не менее теперь, когда любимый том был вложен в мои руки, когда я начала листать его, ища в великолепных иллюстрациях то очарование, которое до сих пор неизменно находила в них, они показались мне жуткими, наводящими тоску и уныние. Великаны выглядели тощими людоедами, карлики — злобными, нагоняю-

щими страх уродцами, а Гулливер — бесконечно одиноким странником в самых страшных и опасных областях мира. Я закрыла книгу, не решившись прочесть хотя бы строчку, и положила ее на тумбочку рядом с корзиночкой, к которой так и не притронулась.

Кончив прибираться комнату и вытирать пыль, Бесси вымыла руки, открыла некий ящичек, полный чудесных шелковых и атласных лоскутков, и занялась изготовлением новой шляпки для куклы Джорджианы, напевая вполголоса. А пела она вот что:

В дни, когда мы кочевали,
Так давно-давно...

Я часто слышала эту песню раньше — и всегда с живейшей радостью, так как голос Бесси был очень мелодичным... по крайней мере таким он казался мне. Но теперь, хотя ее голос ничуть не утратил мелодичности, в звуках песни мне почудилась невыразимая печаль. Иногда, поглощенная своей работой, она на припеве понижала голос почти до шепота, растягивая слова, и «Так давно-давно» обретало скорбную каденцию погребального гимна. Затем она завела вторую балладу, на этот раз по-настоящему грустную:

Устала идти я, и ноженьки ноют.
Как дики здесь горы, как тропы круты,
И сумерки скоро дорогу закроют
От взоров лишенной всего сироты.

Почто же послали меня так далеко,
Туда, где лишь скалы да дрока кусты?
Люди со мной поступают жестоко,
Но ангелы бдят над судьбой сироты.

И ветер мне теплый лицо овевает,
И светят мне звезды с небес высоты,
Господь в милосердьи своем утоляет
Печали бредущей во тьме сироты.

Коль в пропасть иль в топь завлекут меня злые
Огни, что блуждают среди темноты,
Отец мой небесный за муки бывлые
Душу к себе призовет сироты.

Без близких и крова живу я, тоскуя,
Но в сердце не вянут надежды цветы:
На небе мой дом, там его обрету я.
Бог — любящий друг и оплот сироты.

— Да ну же, мисс Джейн, не плачьте, — сказала Бесси, кончив петь. С тем же успехом она могла сказать огню: «Не обжигай!» Но как она могла знать, какие тяжкие муки меня терзали?

Вскоре в детскую вошел мистер Ллойд.

— Как! Уже на ногах! — сказал он, притворяя за собой дверь. — Ну-с, нянюшка, как она?

Бесси ответила, что мне много лучше.

— Тогда ей следует выглядеть повеселее. Подойдите-ка сюда, мисс Джейн. Вас ведь зовут Джейн?

— Да, сэр, Джейн Эйр.

— Ну-с, вы плакали, мисс Джейн Эйр, так не скажете ли мне, из-за чего? У вас что-нибудь болит?

— Нет, сэр.

— А! Плачет небось, что не смогла поехать покататься в карете с хозяйкой, — вмешалась Бесси.

— Да не может быть! Она ведь уже большая и не станет дуться из-за таких пустяков.

Я придерживалась такого же мнения, и столь несправедливое обвинение больно уязвило мое самолюбие. Я поспешила ответить:

— Уж из-за этого я плакать не стала бы, ни за что! Ненавижу кататься в карете! А плакала я, потому что очень несчастна!

— Как не стыдно, мисс!

Добрый аптекарь, казалось, был озадачен. Я стояла перед ним, и он не сводил с меня внимательного взгляда. Глаза у него были небольшие, серые и не светились особым умом, однако, полагаю, теперь я сочла бы их пронизательными. Лицо у него было суровое, но прятало доброту. Хорошенько меня разглядев, он наконец спросил:

— Отчего вы вчера заболели?

— Да упала она, — вновь вставила словечко Бесси.

— Упала! Как совсем маленькая? Что же, она ходить не научилась в ее-то возрасте? Ведь ей не меньше восьми, а то и девяти лет.

— Меня сбили с ног! — Вновь уязвленная гордость вырвала у меня эту правду. — Только заболела я не потому, — добавила я.

Мистер Ллойд взял из табакерки понюшку табака, потом он убрал табакерку в жилетный карман, и тут громкий звон колокольчика позвал прислугу обедать. Этот сигнал ему был известен.

— Идите-ка обедать, нянюшка, — сказал он, — а я до вашего возвращения поучу мисс Джейн уму-разуму.

Бесси предпочла бы остаться, но выбора у нее не было: в Гейтсхед-Холле к столу полагалось являться минут в минуту.

— Но если вы заболели не от ушиба, так от чего же? — продолжал мистер Ллойд.

— Меня заперли в комнате с привидением, а уже совсем стемнело.

Мистер Ллойд улыбнулся и тотчас нахмурился:

— Привидение! Значит, вы все-таки совсем маленькая. Вы боитесь привидений?

— Призрака мистера Рида я боюсь. Он умер в той комнате и лежал там в гробу. Вечером туда никто не заходит — ни Бесси, ни кто-нибудь еще, если их не заставят. И было очень жестоко запереть меня там одну и даже без свечки, так жестоко, что, по-моему, мне этого никогда не забыть.

— Вздор! И поэтому вы расстраиваетесь? Вы боитесь и теперь, при свете дня?

— Нет, но ведь ночь снова настанет. И скоро. А несчастна я, очень несчастна, много еще из-за чего.

— Так из-за чего же? Можете вы назвать мне другие причины?

Как мне хотелось ответить на этот вопрос со всей полнотой! И как трудно оказалось найти хоть какой-то ответ! Дети способны чувствовать, но они не умеют анализировать свои чувства; а если немного разберутся в них, так не умеют выразить это в словах. Однако в страхе лишиться этого первого и единственного случая облегчить свое горе, поделившись им, я после минуты растерянного молчания кое-как умудрилась ответить, хоть и не подробно, но вполне правдиво:

— Ну, у меня ведь нет ни отца, ни матери, ни братьев, ни сестер.

— Зато у вас есть добрая тетушка и ваши кузины и кузен.

Вновь я помолчала, а затем выпалила:

— Но Джон Рид сшиб меня с ног, а тетя заперла в Красной комнате.

Мистер Ллойд вторично достал табакерку.

— Неужели вы не думаете, что Гейтсхед-Холл очень красивый? — спросил он. — Неужели не благодарны за то, что живете в таком прекрасном доме?

— Это ведь не мой дом, сэр, а Эббот говорит, что у меня меньше права жить в нем, чем у судомойки.

— Пф! Вы ведь не глупенькая и не захотите расстаться с таким чудесным местом!

— Будь мне куда уехать, так я была бы рада расстаться с ним, но мне придется жить в Гейтсхед-Холле, пока я не вырасту.

— Может быть, и не придется, кто знает? Есть у вас родственники, кроме миссис Рид?

— Думаю, нет, сэр.

— А по отцу?

— Не знаю. Один раз я спросила тетушку Рид, а она ответила, что, возможно, у меня и есть бедные родственники по фамилии Эйр из самых простых, но ей о них ничего не известно.

— Если бы у вас были такие родственники, вы бы захотели уехать к ним?

Я задумалась. Бедность отталкивает взрослых, но куда более отталкивающей она кажется детям. Они ничего не знают о почтенной бедности, трудолюбивой и добродетельной. Для них это слово связано только с лохмотьями, скудной едой, холодным очагом, грубыми манерами и грязными гадкими привычками. Для меня бедность была синонимом унижительной нищеты.

— Нет, мне не хотелось бы жить у бедных людей, — ответила я.

— Даже будь они добры к вам?

Я покачала головой. Как бедняки могут быть добрыми к кому-то? И ведь мне пришлось бы научиться говорить, как они, перенять их манеры, остаться необразованной, а потом стать такой, как те бедные женщины в деревне Гейтсхед, которых я иногда видела у дверей их домишек,

когда они нянчили младенцев или стирали, — нет, мне не хватило бы героизма купить свободу ценой потери касты.

— Но разве ваши родственники так уж бедны? Они, наверное, трудятся?

— Не знаю. Тетушка Рид говорит, что если у меня они и есть, так, конечно, одни только нищие. А мне бы не хотелось просить милостыню.

— А в школе вам учиться не хотелось бы?

Я снова задумалась. О школах понятие у меня было самое смутное. По словам Бесси выходило, что это такое место, где юные барышни сидят в колодках, ходят с привязанными к спине досками и обязаны вести себя со строжайшей благовоспитанностью. Джон Рид ненавидел свою школу и всячески поносил своего директора, однако вкусы Джона Рида не были для меня законом, а если сведения Бесси о школьной дисциплине (почерпнутые из рассказов барышень, в чьем доме она служила до Гейтсхед-Холла) и внушали некоторый ужас, ее описания плодов образования тех же барышень казались мне удивительно заманчивыми. Она хвастала тем, как прекрасно они умеют рисовать пейзажи и цветы, как чудесно поют романсы и играют на фортепьяно. А какие кошечки они вяжут и еще читают книги по-французски! Я слушала, и во мне пробуждалось желание научиться всему этому. Кроме того, школа подразумевала полную перемену во всем: долгую поездку, полный разрыв с Гейтсхедом, начало совсем новой жизни.

— Да, учиться в школе мне очень хотелось бы!

— Ну-ну, кто знает, что может случиться? — сказал мистер Ллойд, вставая. — Девочка нуждается в перемене воздуха и обстановки, — добавил он сам себе. — Нервы не в очень хорошем состоянии.

Тут вернулась Бесси, а снизу донесся шум подъезжающей кареты.

— Вернулась ваша госпожа, нянюшка? — спросил мистер Ллойд. — Я хотел бы поговорить с ней перед уходом.

Бесси проводила его в малую столовую. Судя по дальнейшему, я полагаю, что в этом разговоре с миссис Рид аптекарь взял на себя смелость порекомендовать, чтобы меня отдали в пансион, и этот совет был, очевидно, принят весьма охотно. Во всяком случае, когда несколько

дней спустя они с Бесси обсуждали эту тему за шитьем в детской, полагая, что я давно уснула, Эббот сказала:

— Хозяйка, сдается мне, только рада избавиться от такой несносной скверной девчонки, которая всегда будто следит за всеми и замышляет пакости.

В глазах Эббот я, видимо, была кем-то вроде Гая Фокса в детском платице.

Из той же беседы мисс Эббот с Бесси я впервые узнала, что мой отец был бедным священником, что моя мать вышла за него замуж против воли своих родителей, считавших, что он ей неровня, и что мой дед Рид, разгневанный ее непокорностью, не дал за ней ни шиллинга, и что через год после их свадьбы мой отец заразился тифом, навещая бедняков своего прихода в большом фабричном городе, где тогда свирепствовала эта болезнь, а моя мать заразилась от него, и они оба умерли в один месяц.

Бесси, выслушав этот рассказ, вздохнула и сказала:

— Бедную мисс Джейн надо бы жалеть, Эббот!

— Да, — отозвалась Эббот, — будь она хорошей, милой девочкой, как было бы не пожалеть сиротку, да только не такую, не маленькую жабу!

— Верно, верно, — согласилась Бесси. — Уж конечно, красоточку вроде мисс Джорджианы было бы на ее месте куда жалче.

— Да уж! Я в мисс Джорджиане души не чаю! — пылко вскричала Эббот. — Вот уж душечка! Локончики длинные, глазки синие, и вся такая розовенькая и беленькая... Бесси, я бы поужинала гренками, поджаренными с сыром.

— И с луком! Пойдем-ка на кухню.

И они ушли.

ГЛАВА 4

Мой разговор с мистером Ллойдом и вышеизложенная беседа Эббот и Бесси настолько меня ободрили, что у меня появилось желание выздороветь: перемена была близка — я жаждала и ждала ее в молчании. Однако она все не наступала и не наступала: проходили дни, недели, ко мне вернулось обычное здоровье, но о том, на чем сосредотачивались все мои мысли, больше не было ни

слова. Миссис Рид по временам мерила меня суровым взглядом, но редко одаривала хотя бы одной фразой. После моей болезни она еще больше отделила меня от собственных детей: распорядилась, чтобы мою кровать переставили в чуланчик, чтобы я ела в одиночестве и не выходила из детской, пока они проводили время в гостиной. Однако она ни намеком не обмолвилась о том, что собирается отправить меня в школу. Тем не менее я инстинктивно чувствовала, что она не намерена больше терпеть мое присутствие под своим кровом, — ведь теперь ее взгляд, когда был обращен на меня, еще больше, чем раньше, говорил о глубочайшей и неискоренимой антипатии.

Элиза и Джорджиана, несомненно по указанию маменьки, почти не разговаривали со мной вовсе, а Джон, едва увидев меня, корчил презрительные гримасы и как-то раз вознамерился снова дать волю кулакам, однако я тотчас оказала ему отпор, движимая тем же мятежным отчаянным гневом, за который уже заплатила так дорого. Поэтому он счел за благо воздержаться и бросился прочь, сыпя бранью и клянясь, что я разбила ему нос. Я действительно обрушила на эту выдающуюся черту его лица удар такой силы, на какую был способен мой кулачок. А я, заметив, как этот удар, а может быть, и весь мой вид напугали его, вознамерилась было завершить свою победу, но он уже удрал к маменьке. Я слышала, как он, хныча, принялся плести историю о том, что «эта противная Джейн Эйр» набросилась на него, точно взбесившаяся кошка, но был довольно резко оборван:

— Не говори со мной о ней, Джон. Я же велела тебе не подходить к ней близко. Она недостойна того, чтобы ее замечали. Я не желаю, чтобы ты или твои сестры общались с ней.

И тут, перегнувшись через перила, я внезапно закричала, не выбирая слов:

— Это они недостойны общаться со мной!

Миссис Рид была довольно дородной женщиной, но, услышав это нежданное и дерзкое заявление, она взбежала по лестнице стремительно, точно смерч, увлекла меня в детскую, втолкнула в чуланчик, опрокинула на

СОДЕРЖАНИЕ

Джейн Эйр. Роман. *Перевод И. Гуровой* 5

О Шарlotte Бронте

ЭНТОНИ ТРОЛЛОП. ИЗУМИТЕЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА.
(Из статьи). *Перевод И. Гуровой* 533

ГИЛБЕРТ КИТ ЧЕСТЕРТОН. ШАРЛОТТА БРОНТЕ.
(Из сборника «Разноликие персонажи»). *Перевод Н. Трауберг* 534

ВИРДЖИНИЯ ВУЛФ. «ДЖЕЙН ЭЙР» И «ГРОЗОВОЙ
ПЕРЕВАЛ». (Из эссе). *Перевод И. Бернштейн* 537